

Елена Хисматулина



БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ СНЕГ

Елена Хисматулина

Белый, белый снег

«Издательские решения»

Хисматулина Е.

Белый, белый снег / Е. Хисматулина — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-901370-5

Книга «Белый, белый снег» — сборник повестей, написанных в жанре современной прозы. В каждой из них — судьба человека в скрещении и переплетении судеб поколения, в густом замесе счастья, горя, любви и потерь. Для проявления портретов своих героев автор использует особый холст — чистый белый снег. И это тоже герой — особенный, гуляющий и разносимый ветром сразу по трем повестям.

ISBN 978-5-44-901370-5

© Хисматулина Е.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Белый, белый снег	7
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Белый, белый снег

Елена Хисматулина

*Все персонажи являются вымышленными. Любое совпадение
с реально живущими или жившими людьми случайно.*

© Елена Хисматулина, 2017

ISBN 978-5-4490-1370-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Новая книга – это новый опыт, попытка не только вокруг себя, но прежде всего в самом себе найти что-то необычное, преодолеть зашоренность мышления, найти неизбитые образы и ассоциации, вывернуть наизнанку собственное сознание. Самое сложное – найти идею, поймать ее ускользающий хвост, схватиться и лететь следом, не отпуская.

Капризная, взбалмошная, непредсказуемая и непостоянная госпожа Идея. Сколько переживаний, внутренних споров и разочарований на ее счету. Сколько разорванных страниц и дней полного безверия в себя. Она не щадит, не сочувствует, не утешает. Она не терпит слез, играет жестоко, с вызовом, проверяет на прочность и состоятельность. Но если вдруг случается ей проявить благосклонность... абзацы начинают строиться сами собой, слова громоздятся и перебивают друг друга, листы полнятся и рожают нечто новое.

Когда задумывалась книга «Белый, белый снег», первая повесть уже была написана и даже вышла в составе сборника «Не про меня, но обо мне». Но она «вскочила» туда случайно, как в последний вагон уходящего поезда. У повести предполагалась своя судьба и свое окружение, потому что у нее есть свой особенный герой, гуляющий и разносимый ветром сразу по трем повестям.

Снег – белый-белый, всего-навсего белый... Первый – пушистый и застенчивый. Декабрьский – особенный – искрящийся и праздничный. Бывает колкий, царапающий и обжигающий, но чаще – кружевной, мягкий, вальсирующий. Всегда такой разный, он существует фоном, декорацией, создает не ситуацию, а лишь ее отблеск – настроение или атмосферу. Может быть, именно поэтому называется атмосферным явлением?

Но лишь иногда, когда это особенно важно, снег выходит на авансцену, исполняет свою звездную роль, точностью и чистотой игры проявляя значимое, полутонами передавая осмысленность и глубину...

Белый, белый снег

Novotel – клочок земли меж небесных трасс, временный приют для аэробродяг, отель, затертый аэропортами Шереметьево-2 и Шереметьево-1. Я никогда не узнала бы о его существовании, если бы не отмененный рейс из Екатеринбурга, семь долгих часов скитания по аэровокзалу, двухчасовой перелет до Шереметьево-1 в надежде успеть, еще успеть на самолет до Рима. Но чуда не случилось. Февральский ветер унес аэробус в столицу Италии, а уставшая от пассажиров и их проблем администратор выдала мне направление в Novotel:

– Отдохнете ночь, поспите, а утром есть рейс на шесть десять. В билетах отметку я сделала.

«Знали бы вы, как хотелось мне еще сегодня вдохнуть весенний запах Рима! Там тоже февраль, но февраль с цветами на улицах, с долго затухающими фонарями, с фланирующей публикой и общим настроением тепла и отдыха. Как хотелось без проблем преодолеть это расстояние между зимой и весной, оставить позади все, что напоминает о снеге и морозе, ненадолго выпорхнуть из собственной жизни в чужую, праздничную и манящую», – подумала я, но так ничего и не сказала несчастной администраторше. Взяла билет, протиснулась в автобус с замерзшими от февральской стужи волнами на борту и через полчаса оказалась в Novotel.

Небольшой номер, вполне приемлемый для одной случайной ночевки, шикарный по сравнению с перспективой ожидания утреннего рейса в зале Шереметьево-2, но абсолютно равнодушный и безликий, если рассматривать его для длительного пребывания. По счастью, мой вариант был первым и предлагаемая ночная трапеза вкупе с коротким ночлегом воспринималась как вполне уместное проявление формального гостеприимства.

Есть, в общем-то, не хотелось, но никому, даже мне самой, не было до этого дела. Я не задумываясь двигалась по свыше предписанному маршруту: бросила чемодан в номере, умылась с дороги, взяла талон в кафе и присела за столик. Официантка привычными жестами сервировала для меня ужин. Корзинка с мягким хлебом, запахи ароматного чая, омлета, огурцов в салате. Я, наверное, очень устала, потому что вся обстановка втянула меня, вобрала в себя, и во мне не достало воли противиться предложенному комфорту. После двух чашек чая веки потяжелели, глаза потеряли фокус и стали слипаться, не дожидаясь отбоя. Мне пришлось пересилить себя, вынырнуть из кресла и подняться на четвертый этаж. Видимо, я сделала это и завела часы, прежде чем укрылась с головой и провалилась в сон.

Утром бешено заверещал будильник, одновременно с ним зазвонил телефон. Я вскочила, но сердце, казалось, вскочило еще раньше и испуганно металось внутри меня, спасаясь от дребезжащего будильника и телефона.

– Вы просили разбудить пораньше, но должна вам сообщить, что рейс задерживается по метеоусловиям. Разбудить вас за два часа до рейса?

– Нет, я уже вряд ли усну. Спасибо.

– Тогда спускайтесь на завтрак. Сегодня несколько горячих блюд на выбор, свежая выпечка, фрукты, – девушка была профессионально любезна.

– А рейс? Что там с метеоусловиями?

– Снегопад. Вы не смотрели в окно?

– Нет, сейчас посмотрю, спасибо...

За окном был не снегопад. За окном был сплошной снег, один только снег и ничего больше. В плотной дымке медленно двигались огни. Я поняла, что рядом проходит дорога, но ее направление только угадывалось. Машины с трудом продирались сквозь снежную пелену. Выбирать, видимо, не приходилось – в отличие от меня им просто надо было выполнять свою работу, даже в снегопад.

Спустилась на первый этаж. Кафе почти пустое – люди смирились с неизбежностью задержки рейсов и досыпали ровно столько, сколько могли позволить сегодня обстоятельства. Я налила кофе, добавила сливок, взяла теплый круассан и грушевое желе. Не везет мне, катастрофически не везет. Опаздываю почти на сутки, и никто не вернет мне этот безвозвратно пропавший день...

* * *

– Только однажды, очень много лет назад, я слышал о подобном снегопаде. Слышал и представил его себе настолько живо и явственно, будто наблюдал сам. Я и наблюдал его, только в своем воображении. Он был именно таким, как сегодня. Потом с годами мне стало казаться, что давние неясные впечатления объединяются с безудержной фантазией, чтобы восполнить свои пробелы, и надумывают нечто несуществующее, химерное, несотворимое. Оказывается, бывает такое наяву, – мужчина сидел вполоборота ко мне, говорил будто сам с собой, но что-то подсказывало, что я уже приглашена участвовать в беседе.

– Да, такое редко встречается. Но обычно крупным белым хлопьям нужен простор, чтобы кружиться, выжить, терять голову, опускаясь на землю. А этим тесно, настолько тесно, что они не расправляют свои юбки, манжеты и жабо. Обрушиваются сплошной стеной, и уже непонятно, где земля и где небо.

– Вы хорошо сказали: им «тесно». Правильно и образно. Им тесно. Хм, молодец! – мужчина повернулся лицом и еще некоторое время пробовал на вкус это «тесно», одновременно разглядывая меня. – Вы надолго опаздываете?

– Кажется, на всю жизнь. Я опаздываю со вчерашнего дня из Екатеринбурга. Еще до ночи я должна была увидеть Рим. Потом надеялась улететь сегодня. Но, похоже, и вторые сутки пройдут в ожидании.

– Но вы никогда не увидели бы такого, если бы успели улететь вчера. Цените сотворенное для вас чудо.

– Вы говорите так странно, будто только для меня оно творится.

– Так и есть. Смотрите, никого, кроме нас. Все спят и ничего не видят. Я уже стар, ради меня не стоит играть таких спектаклей, да и был в моей жизни однажды снегопад... А вы молоды, и вам обязательно надо было когда-нибудь встретиться с ним.

Я подумала, что мужчина действительно стар, по-старчески многословен и нетороплив. Он может позволить себе эту вынужденную остановку. Он уже никуда не торопится. А у меня все по-другому. Я не могу оставаться здесь долго. У меня всего восемь дней и восемь ночей. Теперь и того меньше.

Настроение стало портиться. Мне не хотелось больше поддерживать беседу. Ее размеренное течение сбивало темп моей жизни. Мы существуем с ним на разных скоростях. Он наблюдает снегопад и замечает в нем сотни движений, а мне видится только снег, снег и снег. И только из-за того, что сейчас я бессильна, что не могу ничего поделать с обстоятельствами, я готова сбросить скорость совсем до нуля. Но тогда уже до нуля, и, как собака в ожидании хозяина, сидеть у двери. Сидеть и ждать, когда же выпадет весь этот снег. А потом все – взмыть в воздух сразу, с короткого разбега. И даже на него у меня нет времени. Мне надо лететь. Лететь сегодня, сейчас. Я так хочу в Рим!

– Вы устали от пустых разговоров. Если позволите, я расскажу вам одну давнюю историю...

Мне неудобно было прервать его, как неудобно было и слушать. Он отвлекал меня от действительности, запеленговывал ту волну, на которой я мысленно телеграфировала свое единственное жгучее желание – лететь. Если бы не его возраст, пожалуй, я не была бы столь терпимой. Но этот его возраст не позволял мне наглухо закрыться, уйти в себя и свои мысли. Без

особого желания слушать и слышать я просто вдвинулась поглубже в кресло и приготовилась пережить...

* * *

– Мне было пять лет, если сейчас это вообще можно себе представить. Мне тоже когда-то было пять лет... Помню комнату, где жили с мамой, кровать с никелированными шишечками, коврик на стене и большое окно, которое зимой всегда покрывалось причудливым узором. Отца не помню совсем, но знаю, что он был. Мама часто говорила, что скоро приедет папа и мы махнем все вместе к морю. Я ждал, сам не знаю чего. Во мне настолько отпечаталось это «к морю», что всякий раз, когда кто-то приходил в нашу большую коммунальную квартиру, я надеялся – к нам, и мчался собирать вещи в дорогу. Вы слушаете меня?

– Да, – я прикрыла глаза в знак согласия, а про себя добавила: «Куда деваться».

– И однажды мы начали собираться. Только у мамы было озабоченное серое лицо и уезжали мы совсем не к морю. Мы ехали в Ельники – небольшую деревню, где жила бабушка. Мама торопила, скидывала как попало вещи в кучу. Собрала большой баул, который позже мы еле втиснули в вагон. Ехали долго, и потому мне стало казаться, будто я давно живу в вагоне и уже всех в нем знаю.

Станция, где высадились, была такая маленькая, что ни подводов, ни какого другого способа добраться до Ельников там не нашлось. Мама едва допросилась, сколько же верст до деревни. Оказалось далеко. Идти одной с баулом и ребенком не было никакой возможности. Мы остались ждать, промерзли до костей. Мне запомнились только мамины руки – холодные, застывшие. Она пыталась согреть ими мои ладони, но от ее прикосновений мне становилось только холоднее. Я чувствовал, что мама не думает сейчас ни о подводе, ни о бабушке, ни обо мне. Она сидела, повернувшись вполборота, тискала мои ладошки, а сама немигающим взглядом смотрела сквозь окно. У меня зубы стучали громче, чем колеса проезжающих мимо поездов. А за то время, сколько мы просидели на станции, их прошло два. Помню почему-то очень отчетливо. И не знаю, зачем храню эту информацию...

Мужчина надолго замолчал. Продолжал предаваться воспоминаниям или просто устал от прошлого, не знаю. Мне по-прежнему не казалось важным то, что он пытался рассказать, но и говорить сейчас о своем было неуместно. Пауза длилась и длилась. Я совсем было решилась «разбудить» его, когда он снова заговорил.

– Мы дождались все же, когда к станции подкатила старая телега. Приехала суровая тетка с широкими по-мужски бровями, поджатыми губами, тяжелым, темным и недобрый взглядом. Она была в ватнике, старых кирзовых сапогах, темной застиранной юбке. Пристроила у высохшего дерева лошадь с телегой, а сама направилась напрямик к нам, будто знала, чего мы ждем. Встала напротив матери. Та поднялась, потянула за руку меня. Тетка долго смотрела ей прямо в глаза, потом повернулась ко мне:

– Прибыли, значит.

– Приехали. – Мама сильнее стиснула мою руку.

Снова пауза и снова долгий изучающий взгляд.

– Собирайтесь, нечего здесь расслаиваться.

– Я только Славика привезла... Мне ехать надо, обратно... Сейчас.

«Что мама такое говорит? Куда ей ехать? Как? Без меня?» – я в испуге смотрел на мать, боясь отпустить ее руку. Вцепился с такой силой, что у матери от боли скривилось лицо, но она продолжала смотреть на тетку и руки моей не одернула.

– Куда тебе ехать, что придумала?

– Обратно. Мне нельзя здесь с вами. Мне обратно надо.

– Ты что, думаешь, я здесь одна с ним нянчиться буду? Сама привезла, сама и живи-воспитывай. Не надо тебе никуда ехать. Собирайся, пошли. Дотемна надо к дому прибиваться. – Развернулась и широким крепким шагом пошла к телеге.

Нам ничего не оставалось, как следовать за ней. У мамы по щекам потекли слезы. Не знаю, от того ли, что тетка ее не послушалась и решила по-своему, или от снятого напряжения – вряд ли матери легко было принять решение оставить меня одного с ней. Она плакала, а я был благодарен тетке, что не отпустила маму. Решила как решила, и точка.

У телеги мама расстегнула пальто, сняла реденькую, как ветошь, старую шаль и намотала мне на голову прямо поверх кепки. Хмурая тетка посмотрела на меня безо всякого интереса, влезла на телегу, подождала, пока мать усядется рядом со мной, и легонько стегнула лошадь. Та покачалась на тощих натруженных ногах, фыркнула, будто испуская дух, постояла, прикрыв глаза и шумно раздувая бока, и наконец медленно потянула за собой телегу.

Дорога сначала шла наезженная. Лошадь тянула телегу неспешно, слегка подергивая ушами. Телега на ухабинах нервно икала, но лошадь оставалась невозмутимой. Меня толкало то в бок ближе к матери, то отбрасывало в сторону. В конце концов, мама придвинулась вплотную и обняла мои плечи. Теперь кидало из стороны в сторону уже нас двоих, но было гораздо теплее. Улучив момент, я тихонько пискнул:

– Мама, ты меня не бросишь одного с?... – Я не знал, как назвать незнакомую неприветливую тетку. – Ну... с этой. Не бросишь?

Мама прижала меня еще крепче, припала щекой к повязанной шалью кепке и сквозь редкую ткань шепнула в ухо:

– Это бабушка твоя, Славик. Бабушка. Ты не бойся ее.

– Бабушка? К которой мы ехали?

– Да, к которой ехали.

Я был удивлен и разочарован. Когда мама сказала, что мы едем к бабушке, я представил добрую ласковую старушку с морщинками на лице, теплыми руками и светлыми выпцветшими чуть влажными глазами. Сейчас мне легче словами обрисовать тот образ, который сложился в моем воображении. А тогда я просто знал, какие бывают бабушки. Тетка, правящая некрасивой старой лошадью, не могла быть моей бабушкой.

– Что, не признал родню?

Я дернулся всем телом, услышав ее голос. Не думал, что она подслушивает нас с мамой, не знал, что ей сейчас сказать, только засопел и опустил пониже голову.

– Я просто не успела ему ничего рассказать, – мама пыталась оправдать меня.

– Не успела, – пробурчала тетка недовольно. – Не хотела, вот те и не успела.

Тем временем телега свернула на узкую, едва различимую в сбившейся грязной лесной подушке дорогу. Лес подступил совсем близко. Темные еловые ветви кое-где касались телеги, а то отходили назад, давая простор лошади и повозке. Ехали долго, но среди тяжелых еловых лап не так зло налетал на нас ветер. Стало если не теплее, то, во всяком случае, более сносно. Когда начало смеркаться, впереди лес расступился и показались темные неприглядные избы.

– Добрались, слава Господу, – тетка легонько стегнула лошадиный круп, и та резвее потрусила к дому.

В избе было тепло. Заранее натопленная печь не успела остыть. Мама сняла с моих застывших ног ботинки. Пальцы онемели от холода и тесной обуви. В тепле ногам стало еще хуже – будто тысячи иголок пронзили их и пытали, вторгаясь то глубже, то отпуская плоть, и снова атакуя. Дома я бы заплакал, но присутствие рядом мрачной, чужой и одновременно моей бабушки заставило стерпеть боль. Мама спросила разрешения согреть для меня воды.

– Щас, натрем ему ноги, грудь, спину. Сразу полегчает. Куда собрались чуть не голышом? Осень поздняя на дворе, утром вода стынет, а ты парня в пальтишко на рыбьей коже обрядила.

Бабка смочила тряпицу мутной жидкостью, сняла с меня свитер, рубашку, быстрыми движениями прошлась по груди и спине, потом растерла ноги до колен.

Запах у жидкости был странный, я задохнулся и закашлялся.

– Ничего, парень, самогон – он полезный, когда на разогрев. Иди вон теперь на печь. Я тебя тулупом укрою. Давайте грейтесь, картохи вон в печи берите, я покамест лошадь со двора сведу. Не наша, чай, вертать пора.

Я подумал, что, может быть, она и не такая страшная. Через пару минут, укутанный в тулуп, сидя у печки, я закимарил, не дожидаясь ужина, о котором мечтал всю дорогу. Мама вскоре разбудила меня, сквозь сон я съел пару картофелин, ломоть хлеба со сметаной и будто провалился в другой мир, полный покоя, тепла, сытости и сонного наслаждения...

Мы прожили у бабушки до зимы и всю зиму. Житье в небольшой деревеньке было безрадостным. С раннего утра еще затемно бабушка уходила на ферму. Колхоз, объединивший несколько деревень, был мясо-молочным. Вроде бы с едой проблем не знать, а люди едва сводили концы с концами. Раньше в каждом, даже небольшом, хозяйстве была корова, овцы, птица. Бабушка часто вспоминала свою Зайку – добрую удоистую корову. И мне странно было наблюдать, как на ее всегда серьезном неласковом лице сквозь слезу проступала улыбка. Уже взрослым я понял, что и на ферму пошла она только за своей Зайкой – никого более родного и близкого в колхозе у нее не нашлось. Дед мой погиб совсем молодым, глупо и неожиданно – провалившись под лед весной. Бабка подняла сына, но больше семьи не создала – сначала мужиков на ее особую красоту не нашлось, а там и красота спряталась за резкие грубоватые морщины, широкие съехавшие к глазам брови, низко нависшие веки и крепко сомкнутые губы с опустившимися уголками, придавшими лицу недовольное нелюдимое выражение...

* * *

Мама тоже вынуждена была устроиться на работу. В Ленинграде, откуда прибыли, работала в больнице. Здесь же пошла на абразивный завод, выбирать не приходилось. В первое время переживала за меня сильно, говорила, лучше бы в город подались, меня бы в сад пристроила – все веселее. Но постепенно житье наладилось.

Мама с утра спешила на работу. Когда на машине получалось, когда пешим ходом. К тому времени бабушка возвращалась с утренней дойки, так что мне, пятилетнему, не приходилось надолго оставаться одному. Воспитанием моим теперь занималась в основном она. Гоняла меня, приучала к работе. Находила сотню мелких поручений и строго всерьез спрашивала за исполнение – не надейся, что забудет. Не терпела лени, ворчала, что мать парня по-городскому «ростит», балует понапрасну.

Детей моего возраста, да и вообще детей, в Ельниках было мало. Парни и девушки едва крепко становились на ноги – уходили в большую жизнь. Кто в центральной усадьбе работал, кто в город уезжал. Бабушка говорила, все, кто смог, вовремя ушли из Ельников – туда, где дорога была наезженнее и шире. А при Ельниках ферма осталась малая, неподалеку в четырех километрах завод абразивный, вот и вся цивилизация.

Одно только хорошо, что время то лихое катилось стороной, обходя затерянные на карте Ельники страхом репрессий, усиленным натиском коллективизации. Став взрослым, да не просто взрослым, а дожив до седин, я прочитывал переписанную, оспоренную и переосмысленную историю страны словно впервые. Тогда же, в силу возраста и оторванности Ельников от многих событий, не знал, что новый – тридцать девятый – год стал переломным и будто вздох небольшой стране дал. Два жутких предыдущих довели народ до крайности. Расстрелы, пытки, голод, мор – похоже, сталинская свора перегнула палку так, что самим тошно стало. С тридцать восьмого начался выход из колхозов. Не было больше сил у людей смотреть на бесхозяйственность, обнищание, падеж скота. Поворот деревни на старый лад означал бы отступление от социали-

стических принципов, возврат к изничтожаемому прошлому. Может, отчасти поэтому с мая тридцать восьмого началось свертывание массовых репрессий. Хотя о чем я говорю? Моему отцу эта статистика не дала права на жизнь. Он как раз попал в тот пусть и сниженный ровно вполовину, но неизменно работающий, убивающий и уничтожающий план. Тогда ребенком я этого знать не мог. В Ельниках больших потрясений не случилось, а то, что взрослые слышали и знали, хоронили глубоко в себе, не беря по возможности лиха.

Мама целыми днями работала – с утра на заводе, вечером по дому. Вычищала углы, скоблила старый деревянный пол, перестирывала занавески и постельное белье. Дом весь как-то отмылся, стал более светлым, родным. Книжек у бабушки не было, по вечерам мама рассказывала мне сказки, а бабушка колдовала у печки. Мамины рассказы, очевидно, нравились и ей, потому, как только мама прерывалась и настраивала меня спать, она недовольно бурчала: «Чай, не на покос с утра, разрешено еще посидеть маленько». Знала, что зимой работы в поле нет, можно «немного и побалакать, а для рассказов огонь не нужен». Это она о керосине для лампы. Бабушка равно строго берегла и электричество, и керосин, но поздними вечерами по старой привычке предпочитала слабый огонек керосинки. Действительно, света маминым рассказам не требовалось.

Однажды, когда уже «снег лег набело» (бабушкино выражение), я спросил маму, когда мы поедем домой и к морю. Мама опустила руки со штопкой, посмотрела на меня очень внимательно и строго:

– Никогда, Славик. Домой мы уже не вернемся. Будем здесь жить, у бабушки. И к морю больше не поедем.

– Но ты же обещала, мама, обещала! – я непонятно с чего вдруг стал требовать этого моря, требовать настойчиво и бескомпромиссно.

– Хватит. Ты взрослый. Все изменилось.

– Ничего не изменилось, ничего! Ты обещала, много раз обещала! – Что на меня нашло тогда, неведомо. Вроде и предпосылок для истерики не было.

Мама разозлилась и впервые в жизни ударила меня по щеке. Больно не было, но мама подняла на меня руку, и я заголосил что есть мочи. Тогда бабка подошла, прижала мою голову к своему вымазанному мукой фартуку, погладила шершавой рукой по волосам:

– Не кричи, милый, криком тут не поможешь. Пропал ваш папка, сгинул. И сказать о том никому нельзя. Ты на мамку не серчай. Ей тоже нелегко. Потерпи уж, сынок. А к морю, Бог даст, еще съездите когда. Вот зима кончится, там надо будет как-никак определяться. Не век же вам в Ельниках куковать. Вот обрешаем все, а там, глядишь, и море твое когда образуется.

Сейчас, спустя столько лет, я понимаю, что говорила бабушка больше для матери. Успокаивала ее, хотя раньше ни ласковых добрых слов мы от нее не слышали, ни проявлений любви или сострадания. Жестким, неласковым она была человеком, могла по пустякам так круто наказать, что надолго запоминалось. Могла высказать свое резкое замечание любому и по всякому поводу, за что в Ельниках бабушку не любили. Но глубоко внутри нее жил совершенно другой человек, который проявлял себя крайне редко, как тогда, когда успокаивала меня и через меня настраивала мать на новую жизнь без мужа. А ведь отцом моим был ее единственный сын. И ей было совсем не легче нашего. Непросто сказать как отрезать, что нет его и ждать больше незачем. Мать надеялась, что выпустят. А бабка уже тогда в тридцать восьмом поняла, что это конец. Сама продолжала до смерти надеяться и ждать, а матери наказала о сыне печься и жизнь свою устраивать. Иначе, говорила, и сами пропадем. Вот такая она была, моя суровая бабушка...

Пришла весна. Сначала холодная, снежная, какой она бывает на северном Урале. Одно только название – весна. Но постепенно снег начал оседать, сыреть, терять свою праздничную белизну. Запахло свежестью далеких теплых краев, ветер принес надежду, и первые роб-

кие ручьи потекли вдоль деревенской улицы. В Ельниках она и была-то всего одна. Распутье, непролазную грязь, тяжелые низкие облака конца марта сменил прохладный, но уже совсем другой по настроению апрель.

К исходу месяца мама уехала в город справиться насчет работы. Через время работа нашлась, пора было собираться. Бабка встала насмерть – не пуцу.

– Езжай, работай, не за тридевять земель подаешься, а мальчика оставь. Не дело ему по чужим углам маяться. Да и тебе без ребенка сподручней будет. К лету приедешь навестить.

– Я с сыном поеду. Ему в школу через год-два, и мне спокойнее будет.

– Ничего с твоей школой не станет. Вот поживешь, обустроишься, а там заберешь своего сына. Не пропадет никуда. А пока налаживайся одна. И разговору конец.

В итоге так и вышло. Мама подумала день-другой. Куда, правда, меня везти? Сама не знала, как устроится. Поехала. Поплакала да и поехала.

Я, конечно, тоже реву задал. Вот уж когда бабка меня по заднице отходила. Не сметь, говорит, перечить ей. Мал, говорит, еще, взрослые дела решать. Реветь сразу расхотелось. И тогда, и на будущее.

Только к концу лета удалось матери устроить дела с работой, снять комнату и с детсадом для меня проблему решить. Бабушка вновь, как тогда осенью, повезла нас на станцию. Деревенская лошаденка шумно вдыхала теплый, наполненный запахами разнотравья воздух, шла неспешно, не торопя время и события. А может, это бабушка придерживала поводья, надеясь хоть чуть-чуть отсрочить момент расставания?

На станции долго прощаться не пришлось. Времени оставалось едва-едва. Мама сначала молчала, а потом порывисто обняла бабушку, уткнулась ей в плечо и, вздрагивая всем телом, беззвучно рыдая, никак не могла произнести нужные слова. Наконец справилась с собой, попрощалась, поблагодарила за все, обещала, что мы будем часто приезжать и навещать ее. Всегда строгая, малоразговорчивая и несклонная к открытому выражению чувств бабушка вдруг тоже всплакнула, меня прижала и будто не хотела отпускать, маме что-то говорила, чтоб не ставила на себе крест, устраивала жизнь по-хорошему.

Гудок паровоза известил, что больше времени для прощанья нет. Мама посадила меня на подножку, забралась сама на высокую ступеньку, и поезд тронулся. А бабушка осталась, только невысоко перед собой, как-то совсем по-деревенски, подняла руку и будто махнула ей, стесняясь чувств и своего внезапно проснувшегося сердца. Тогда мне снова показалось, что не такая уж она строгая, не такая неприветливая. Я понял, что она моя бабушка, которая по-своему любит. Мне стало так жалко ее, что слезы покатались против воли. Все-таки почти год мы прожили у нее и, как и Зайка, стали родными и близкими...

* * *

– А потом что? Вы так и расстались и не видели ее больше? – меня увлек его рассказ. Я не заметила, что давно слушаю внимательно, не прерывая, представляя и ту маленькую станцию, и Ельники, и пятилетнего хлипко одетого мальчугана с матерью, вынужденной искать способ выжить и уберечь своего ребенка в тяжелые предвоенные годы.

– Хотите еще кофе? – Он приподнял белый пузатый кофейник и, будто составляя ему пару, так же галантно склонив голову, застыл в ожидании.

Я протянула чашку, но только затем, чтобы поскорее покончить с кофе, двумя кусочками сахара, сливками. Все это было не из той его жизни, в которую мы вместе окунулись, и из которой я не могла и не хотела, если честно, возвращаться в сегодняшний день. Он заметил мое нетерпение. Пристально посмотрел в глаза, будто проверяя истинность интереса, и продолжил, словно не было этой минутной важной для него кофе-паузы.

– Почему не виделись? Виделись... Война началась. Мама, как в город перебрались, в госпиталь устроилась. А война случилась, оказалось, что она на своем месте. Сначала мы не ощущали всей горестной силы войны, давящей безнадежности, необратимости приносимых ею потерь. Только когда раненые стали поступать с фронтов, беда стала зримой и очевидной.

Старик снова окунулся в воспоминания. Он немного откинул назад голову, светлые глаза уцепили в стене напротив какую-то важную для опоры точку, позволили сосредоточиться, и память снова начала извлекать из недр события ушедшего времени...

* * *

Раненых привозили специальным поездом. Санитарные машины уже ожидали его на вокзале. Мама рассказывала, что ей тоже приходилось встречать эшелоны. Когда это случилось впервые, плакала дома, глядя мою светлую вихрастую макушку. Говорила, что сердце разывается при виде мучений, выпавших на солдатскую долю. К нам привозили в основном инвалидов или безнадежных. Они оказались никому не нужными. Использовать их на фронте более не было возможности – калеки с ампутированными руками, ногами, с контузиями. Война навсегда превратила этих сильных здоровых мужчин в несчастных и беспомощных, искорежила тела, растоптала и раздавила души. Бывали случаи, когда врачи вопреки всем прогнозам вытаскивали, вытягивали человека, а он хотел умереть, потому как навсегда остаться в полной зависимости, не иметь возможности самому обиходить себя, показаться перед родными полным калекой было горше, чем раз и навсегда проститься с жизнью. Медсестрам приходилось не только выхаживать раненых, но и помогать им справляться с отчаянием, безволием, отсутствием желания жить за себя и во имя себя. Много лет спустя мама повторяла, что тогда уговаривала раненых, зная, что хоть такими их увидят родные, хоть такими им дано право на жизнь. А отцу нашему этой привилегии не досталось, как и тысячам, миллионам других, безвинно погибших от безумства, деспотизма, равнодушия и разобщенности не чужеземцев – своих же соотечественников.

К началу войны мне исполнилось восемь, год я проучился в школе. Мама однажды спросила, что я считаю сейчас самым важным для себя в жизни. Я не любил таких вопросов, стеснялся, ведь говорить надо было о любви к матери, бабушке, о Родине.

– Главное для тебя сейчас – учиться. Понимаешь? Учиться! Потому что пока ты еще мал, чтобы защищать Родину. Кончится война, надо будет возвращаться к мирной жизни, и тогда понадобятся твои силы, твоя светлая голова, чтобы вернуть все так, как было до войны. Тебе надо быть готовым в мирной жизни, стать хорошим, полезным и очень активным человеком. Я прошу тебя запомнить это.

Добрая милая мама. Она так боялась потерять меня, боялась, что, оставаясь надолго один, я отоьюсь от рук или, как многие мальчишки того времени, вздумаю удрать на фронт. Таких шустрых пацанов было немало, сбежать ума и ловкости у них хватало, но только до фронта не добирались – беспризорничали, дичали, кто-то начинал воровать, попадал к уголовникам и, в конце концов, просто пропадал.

Я учился, потому что помнил мамины слова, а после школы бежал в госпиталь. Помогал завхозу дяде Игнату заниматься хозяйственными делами, ездил с ним за провиантом в ближайшие деревни, на склад за медикаментами, помогал с мелкой починкой. Толку, может, от меня было немного, но, когда ездить случалось, дядя Игнат любил брать меня в компанию. Мама не препятствовала. Дядя Игнат был толковым, ответственным и вместе с тем веселым и легким в общении. Его все любили в госпитале: и раненые, и персонал, а я так просто обожал и каждый день сломя голову мчался из школы к нему. Я и уроки усваивал с его помощью. Бывало, расскажу, чем в школе занимались. Он давай рассуждать вместе со мной, рассказывать что-

то из жизни, выпрашивать у меня, что да как. Незаметно повторял я, таким образом, уроки на два и более раз, а потому хорошо и прочно запоминал материал.

Как-то раз, вернувшись с дядей Игнатом со склада, еще издали увидел во дворе бабушку. Она стояла спиной с котомкой за плечами и не заметила меня сразу. Сердце заколотилось, я помчался со всех ног и чуть не снес ее: «Бабу-у-у-шка-а-а!»

– Славик, дитятко мое! Господи, худющий, одни глаза. Вырос-то как, а веса нет никакого, – она еще долго причитала, но так, как умела только моя бабушка – вроде строго и сама про себя. А глаза блестели – рада.

Я и сам не ожидал, что так соскучился по ней. Бабушка не постарела – посерела. Стала суше, мельче, будто часть силы ушла из ее крепкого деревенского тела. Голод тогда никого не обошел.

Видимо, долго готовилась она к поездке, собирала все, что можно привезти гостинцем: орехов кедровых в холщовом мешочке, сухих грибов, картошки, сколько унести смогла, немного сметаны, о которой и думать в городе тогда забыли, хлеба. А мне вынула крупный неровно отколотый кусок сахара. Мы потом с мамой долго рядились – она разделила его на много мелких кусочков и подкладывала мне, чтоб пил вприкуску с чаем. А я незаметно опускал в ее чашку с жидким, едва окрашенным заваркой чаем и радовался, когда мама пила и удивлялась, какая сладкая заварка, даже и сахару не надо.

Бабушка тогда погостила у нас до вечера и снова вернулась в Ельники. Упрашивала маму пустить меня с ней. Уговаривала – в деревне все легче с едой, не уморить бы мальчишку в городе. Но ни мама, ни я сам не хотели расставаться с госпиталем. Без дяди Игната я вообще теперь не мог представить себя. На дорогу мама сунула бабушке кусок мыла, немного денег – больше поделиться было нечем. А когда мы, проводив бабушку, вернулись домой, оказалось, что и мыло, и деньги она оставила на стуле у порога, только полотенце сверху накинула, чтобы сразу не обнаружили.

– Славик, замечательная у нас бабушка. Я ведь, когда с папой поженились, видела ее только однажды. Показалась она мне грубой и неприятной. А когда папы... когда я узнала, что папы... и уехать пришлось, не к кому было больше податься. Написала ей. Не знала, примет ли, а оказалось, что роднее у нас с тобой и нет никого...

Кончилась война. Мы с мамой двинулись дальше, переехали в Пермь. Я повзрослел и теперь сам навещал Ельники в каникулы. Но где бы мы ни жили, как бы ни жили – высылали бабушке деньги, посылки и мама неизменно писала раз в месяц. С годами бабушка немного располнела, постарела, не могла больше работать на ферме – физически тяжело и руки болели, не слушались. Была она на людях все такой же сурово-нелюдимой. В деревне удивлялись, как ее родственники-то любят. Вроде и родня не прямая – ни сын, ни дочь, а глядите-ка: посылки, письма, деньги шлют. Бабушка не обращала на все это внимания. Ждала, когда приедем, и тогда за закрытой дверью своего постаревшего и покосившегося дома становилась бабушкой, которую мы любили, несмотря на ее непростой характер. Вот такая история...

* * *

– А снегопад? Снегопад при чем? Вы говорили, что когда-то однажды был в вашей жизни такой снегопад, который...

– Был, точно. Мне тогда уж лет двадцать семь, что ли, было. Да, наверно, так. Заканчивал Строгановку. Я ведь рано начал рисовать. Еще со школы увлекся этим всерьез. Во время войны, когда дяде Игнату помогал, пробовал рисовать санитарные машины, прачек, днями напролет настирывающих белье и перевязочный материал, лошадей, работавших при госпитале, раненых, смолящих сигарки на больничном дворе. Дядя Игнат сохранял мои рисунки

в старой картонной папке. Неведомо, как ему удавалось, но где только мог доставал бумагу, карандаши. Исписанные почти полностью аккуратно затачивал мне острым перочинным ножом. Позже мама выискала среди эвакуированных художника Арсения Николаевича, уговорила давать мне уроки. Тогда для меня мир будто перевернулся. Я увидел его в цвете на фоне разрухи, бедности, горя и смерти... Но это отдельная история...

После окончания школы сомнений, чем заниматься дальше, не было – ехать поступать в Москву, в Строгановское училище. И тогда от матери впервые узнал и осознал, что дорога в Москву закрыта. Ребенком я понимал, что отца не стало, но что и как произошло, мать долго не рассказывала. Время было такое, не говорили тогда об этом, нельзя было.

Семья наша жила до войны в Ленинграде. Мама родом оттуда, там же родился и я. Надежда увидеть море была связана в моем детстве с долгожданным приездом отца. Он тогда по линии партии был направлен на строительство автотракторного завода. Мама ждала – приедет вскоре, мы все вместе махнем в Крым, и она покажет нам с отцом теплое ласковое синее море. Командировка затягивалась, отец писал, что дел непросторно, а мы все ждали, ждали и ждали.

Однажды приехал человек оттуда и передал, что отца арестовали. Смутно помню эпизод, когда, проснувшись, увидел заплаканную маму, зажавшую зубами полотенце. Она боялась закричать от тоски и боли. Она боялась не выдержать и зарыдать в голос, тем самым выдав постигшую нас беду.

Умные люди посоветовали матери срочно увольняться и уезжать, а то и саму вскоре посадят – жен и детей забирали практически сразу. Уволилась тотчас же, но уехать из города мы не могли. Мама пыталась что-то выяснить об отце. Каким чудом мы избежали гибели, остается гадать. Возможно, свою роль сыграло то обстоятельство, что до ареста отец практически год не был дома, возможно, сбила с толку мамина девичья фамилия, которую она оставила, выходя замуж. Может, Господь уберег молодую растерявшуюся мать, а заодно и меня. Потянулись недели безвестности. Несмотря на то, что отец не был коренным ленинградцем, привезли его в Ленинград. Совсем не помню, но мама говорила, что оставляла меня соседке, а сама до рассвета спешила занять очередь в прокуратуру, после – в тюрьму на Шпалерную. Очередь на Шпалерную формировалась где-то на Невском в парадной одного из домов. Приходилось дежурить с ночи, отмечаться каждые два часа. Только тогда по определенным дням оставалось надеяться вместе с безмолвно колышущейся, будто спаянной и неразделимой толпой попасть к окошку, отделявшему не ее с мужем – ее и одно только упоминание о нем. Спустя несколько недель с момента ареста отца мать доподлинно знала только, что он в Ленинграде и передачи не разрешены.

К тому времени соседка перестала оставаться со мной, вообще боялась связываться с нами – могла и сама пострадать ни за что. После долгого периода ожидания, после многих бессонных дней и ночей, разделивших жизнь на «до» и «после», матери все же выдали информацию, что отец сослан на десять лет без права переписки и передач. Еще оставалась надежда, что он выдержит эти десять лет, что еще не все потеряно. Мало кто понимал тогда, что стандартное «десять лет без права переписки» по приговору означало расстрел. К тридцать восьмому году эта внутренняя мясорубка набрала обороты на полную мощь и только распаляла себя сводками ежедневной кровавой статистики.

Когда приговор стал известен, мама написала бабушке. Ответ просила не присылать. Поехали, не зная, что ждет впереди. Потому и сидела она на станции тогда, устремив взгляд в окно, не видя выхода и будущего в сложившейся ситуации. Не надеялась, что дошло письмо, не рассчитывала, что успеет передать меня бабке. А сама ведь хотела возвращаться. Возвращаться и ждать. Только умная, многое повидавшая на свете бабушка поняла все однозначно. Не отпустила, сберегла и ее, и меня.

Странно. Я так и не узнал своего отца. Вернее, я узнал его только таким, каким помнила мама. А сам – не знаю, не помню, не чувствую. В одном старом фильме девочка спрашивает мужчину, увидев его на фотографии на стене молодым, подтянутым, в военной форме и портупее: «Дядя, ты вождь?» – «Почему вождь?» – удивляется мужчина. «Так ведь ты вон, на картинке». Так же и я – знаю об отце по рассказам, снимкам, глазам матери. Я представляю его сильным достойным человеком, героем. Но каким он был отцом, каким я был для него сыном, не узнаю уже никогда. Большого горя для нашего поколения, чем горя оторванности от близких, от их памяти, опыта и человеческого тепла не было и нет. Из-под наших ног была выбита почва, в души посеян страх недоверия, изничтожена история и поправа вера в справедливость и совесть.

Об отце мы так ничего и не узнали, пока много лет спустя уже в пятьдесят шестом не добились официального ответа. Несколько скупых строк, что отец был «осужден и расстрелян в 1938 году, а в последующем постановление тройки НКВД в отношении его отменено и дело прекращено». Три строки взамен жизни, взамен верности, энтузиазма и труда, отданных Родине, взамен любви, счастья и свободы, которых лишена была его семья, и вопреки всему смыслу человеческого бытия. Три строки...

А в пятьдесят первом мать, опасаясь за мою судьбу, встала насмерть и не пустила в Москву. Я проработал в Перми три с лишним года и только после того поехал поступать в Строгановку. Спустя еще четыре года вместе с другими студентами выставил свою первую большую настоящую работу.

Сейчас в это сложно поверить, но целых восемнадцать лет я жил идеей этой картины. Казалось, каждую краску я подбирал сотни раз и столько же раз менял решение. Я знал каждый сантиметр полотна, знал каждую тень, каждое движение, которое должна была схватить кисть и затянуть внутрь тонкой игры серых, коричневых и охристых тонов. Я знал не только мизансцену, я научился разгадывать каждый последующий жест, каждую предыдущую мысль, каждый вздох настоящего. И при этом на полотне не должно было остаться ни одного движения, ни одного проявления энергии – все внутри, все в душе, в переживании, в ожидании. Это была особо дорогая мне тема – одинокая усталая женщина с котомкой за поникшими плечами, растерянно стоящая посреди госпитального двора. Вокруг с санитарных машин и подвод разгружают раненых, а она вглядывается в лица, волнуясь последней единственной исчезающей надеждой. И взгляд ее останавливает все вокруг, останавливает сам ход времени. Мне хотелось удержать на полотне этот миг, поймать грань между теперешним миготом надежды и следующей секундой разрешения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.